



Валентин ПИКУЛЬ

Нечистая сила¹

<Фрагменты>

7. Нечистая сила

Вдруг приехал в село Покровское мужик Григорий, никому не ведомый, деловито занял пустовавшую избу. Никто и не думал, что под отчий кров вернулся сын бывшего волостного старшины... На высоком лбу его краснела шишка — застарелый след удара, полученного в кабацкой сваре, а шишку он закрыл длинными прядями волос. Покрытый оспинами нос выступал далеко вперед, похожий на иззубренное лезвие топора. Кожа лица была морщинистой и загорелой, а правый глаз Гришки обезображивало желтое пятно. Смотрел на всех муторно и беспокойно — противно эдак-то поглядывал.

— Ты из каковских будешь? — спрашивали мужики.

— Из таковских! Человек божий, по жизни прохожий...

Приехал не один: с ним была жена Прасковья, из тобольских мещан Серихиных. Кормиться трудом Гришка не пожелал. Правда, чтобы не околеть с голодухи, он иногда в извоз нанимался — когда ссыльных в глухомань отвезет, когда до Тюмени возы с сеном или дровами допрavit. Из таких «ездок» обычно вертался пьян-распьян, весь раздрипан в трактирных драках. Без шапки, без денег! Входил в избу, и оттуда сразу же рвался наружу долгий вой Парашки Серихиной — это Гришка от самого порога начинал лупцевать свое сокровище. Вся деревня слушала, как воеет баба.

— В ум-разум вгоняет, — говорили. — Да и то, поди: с дороги возвратясь, как ту жену гостинцами не попотчевать?..

По селу ходили недобрые слухи, будто Гришкина жена служила ранее в «номерах» губернских, где по дешевке проезжих гостей ублажала и трудами немалыми даже на швейную машинку себе скопила,

¹ Печатаются фрагменты по: *Пиккуль В.* Нечистая сила. Т. 1. М.: Вече, 1979. С. 39–42, 66–68.

но Гришка эту машинку пропил. Жизнь мужицкая нелегка: летом изматывались с домочадцами на пашне, готовили дрова и солили впрок убоину, а зимой тоже не продохнешь — катай для города валенки, подновляй упряжь, опять же и овчины — их мять надо! А Гришка знай себе на печке валяется и пухнет там, давя клопов на стенках желтым корявым ногтем.

— Рази так можно? — говорили мужики. — Ты бы встал. Ты бы умылся. Гляди, сам рван, жена не кормлена. А копейка в мошну не скачет. Ее струдить надоть. Крестьянская денежка пот любит!

Ответ Гришки звучал изуверски-кощунственно:

— Ежели господу богу угодно было меня на свет произвести, так пуцай он и позаботится, чтобы я сытым бывал. А работать — не! Я вам не лошадь. На кой хрен мне спину-то ломать? Все подохнут одинако — что труженики, что бездельники...

Порченный — поставили на нем клеймо односельчане. Известно, сколь целомудренна русская деревня: матерного слова не услышишь, а Гришка сквернословил при любом случае, дрался бесстрашно. Лошадей не жалел — загонял насмерть. Внешне мрачный и нелюдимый, обожал веселье, и, коли где гармоника пиликнет, он уже пляшет. Час пляшет, два, три часа... Пузырем вздувается на его спине рубаха, вонючая от пота. Плясал до иступления, пока не рухнет. Плясал, выкрикивая слова песни, словно выбрасывал плевки:

Я люблю тебя, родная,
Я люблю тебя за то,
Что под платьем, дорогая,
Ты не носишь ничего!

Имел тонкий нюх и на выпивку. Носом чуял, где вчера пиво варили, где казенный штоф распивают. Придет Гришка, никем не зван, встанет у притолоки, в избу не входя, и стоит там, шумно вздыхая: мол, я уже здесь... учтите! Мужики пьют водку из мутных стаканов. Суют в бороды лохмы квашеной капусты, закусывая. На зубах хрустят крепенькие огурчики. Иной раз посоветятся:

— Эвон, Гришка-то заявился. Може, и ему плеснем махоньку? Вить ён, как ни толкуй, а тоже скотина — ждет подношения...

Угостившись, Гришка не уйдет, а лишь обопрется о притолоку косяка. Быстро пустеющий штоф приводит его в отчаяние:

— Налейте же и мне, Христа ради!

— Это зачем же тебе наливать? Платил ты, што ли?

— По-божески надоть, потому как — все люди.

— Нет, — настаивали мужики, — ты сначала ответ держи: рази в сооружении энтого штофа ты лично участвовал?

— Не участвовал, но... изнылся. Не погубите!

— По какому же порядку нам тебе наливать?

— А вы в беспорядке налейте... даром.

— Даром! — смеялись за столом мужики, жестокосердно приканчивая штоф без него. — Ишь, прыткий какой... Хы-хы-хы! Пришел и требует, чтобы налили. И ведь не стыдится сказать такое...

Протрезвев, мужики пугались — Гришка умел отомстить. Один богач на селе справлял свадьбу дочери, а Гришку не позвал к угощению. Когда молодые на тройках ехали из церкви, кони вдруг уперлись перед домом — не шли в ворота. Все в бешеном мыле, рассыпая с грив праздничные цветы и ленты, под градом ожесточенных побоев, кони не везли молодых к счастью. «И не повезут», — сказал Гришка, стоя неподалеку... Молодухе же одной, отказавшей ему в любезности, Гришка кошачий концерт устроил. Со всего села сбегались коты по ночам к ее дому, и начинался такой содом, хоть из дома выселяйся...

Староста Белов докладывал исправнику Казимирову:

— Я его, патлатого, не боюсь. Но в глаза ему никогда не гляжу! Коли он на меня зыркнет, так будто мне за шкуру гадюку бросили... Добро бы — цыган какой, так нет: не глаза у Гришки, а бельма пустые... Будто гной поганый течет из глаз его!

Революция 1917 года сняла запрет молчания со многих свидетелей, и крестьянин Картавец показал под присягой следующее:

— Однась поймал я Гришку на покраже остожья. Он мое остожье порубил, жерди на телегу поклат и хотел уже везти на пропой. Тут я его ущучил и велел ему с покраденным остожьем вертать кобылу до волости. Он заартачился и хотел удрать, но я его держал. Тогда он — на меня с топором! Думаю: зарубит ведь. А у меня в руках дрын был. Я как хватил Гришку дрыном. Да столь ладно, что он топор выронил, а кровь из него ручьем. Полег замертво. Ну, думаю, сгубил человека. И стал приводить в сознание. Расшевелил дожива и опять потащил к волостному. Гришка очухался, начал рваться. Тут я ему еще насовал — довел!..

Природа наградила Гришку железным здоровьем. Гораздо позже журналисты подвели итог его скотской выносливости. В возрасте 50 лет он мог начать оргию с полудня, продолжая кутеж до 4 часов ночи; от блуда и пьянства заезжал прямо в церковь к заутрене, где простаивал на молитве до 8 утра; затем дома, отпившись чаем, Гришка как ни в чем не бывало до 2 часов дня принимал просителей, говорил по телефону и устраивал разные аферы, потом набирал дам и шел с ними в баню, а из бани катил в загородный ресторан, где повторял

ночь предыдущую. Никакой нормальный человек не мог бы вынести подобного режима...

Картавцеву — после битья — Гришка пригрозил:

— Погодь, я тебе этого не забуду — исплачешься...

Отомстил жестоко: растлил дочку Картавцева, а потом видели, как его невестка на сеновал к Гришке бегала. Скоро с выгона пропали две лошади Картавцева, который заметил, что Гришка их намедни оглядывал. Картавцев кинулся к Гришкиной избе, Гришка вышел на крылечко, притворно зевая, будто спал:

— Ну, что тебе? На ча мне сдались твои кобылы?

Картавцев заплакал злыми слезами, рухнул в ноги.

— Гриша, — взмолился он, — ты с меня свое уже взял, уже помял баб в доме моем... Верни лошадушек. Погибну ведь!

— Иди отседова, покель ноги держат, — отвечал Гришка...

Никогда того на селе не водилось, а тут стали девки рожать, будто их ветром надувало, и, боясь позору, подкидывали младенцев в дома к бездетным. С опросу выяснилось — Гришкина работа! «За такое надо учить», — и стали мужики зверски калечить Григория за блуд с их женами, дочерьми и сестрами, но Гришка вставал от побоев даже освеженный, будто в жаркий день искупался (сказалась в нем закалка конокрада). При этом еще и грозился:

— Бейте меня и далее, а я свое все равно возьму!

За мерзкие дела прозвали Гришку на селе РАСПУТИНЫМ, и это имя столь крепко прилепилось к нему, что уже не отдерешь. Исправник Казимиров, объезжая свои дремучие владения, не пожелал учитывать Гришку под фамилией «Новых».

— Тогда валяй по-старому — Вилкиным.

— Какой же ты Вилкин? — хохотал исправник. — Вилкин — это от вилки, которой господа салаты кушают, а Распутин — от распутства. Я грамотней тебя, фамильные тонкости понимаю...

Крестьянская община села Покровского возбудила перед властями вопрос о высылке Распутина в Восточную Сибирь, но Гришка не стал ждать, когда его возьмут за шкуру. Он разулся и босиком тронулся в дальний путь, покидая село. На околице ему встретились бабы с граблями:

— Ты кудыть уцелился-то, Григорий?

Вороватый взгляд и подлейший ответ:

— Да я далече... богу молиться. Мне и тятенька завещал, чтобы я Верхотурскую обитель посетил. Ох, грехи все, грехи наши...

Долог пеший путь из Тобольской губернии до Пермской, где затаился в лесах монастырь. Много месяцев о Распутине не было

ни слуху ни духу. А потом явился... но в каком виде! Шел полураздетый, без шапки, длинные волосы совсем закрывали лицо. Никого не узнавая, размахивал руками и все время пел нечто духовное. В церкви дико озирался по сторонам и вдруг ни с того ни с сего начинал сипло голосить псалмы... Кажется, что в период богомолья Распутин повстречался с людьми, которые очень сильно подействовали на его кривобокую психику. Вел он себя странно. Движения стали беспокойны и порывисты, он ходил по селу, часто приседая, потирал руки. Речь иногда делалась бессвязным набором слов. А после нервного возбуждения наступала глухая, замкнутая депрессия... Вернувшись из Верхотурья, Распутин был явно ненормальным, потом он вроде оправился, и здесь летописцы отмечают страшный взрыв чувственности, словно нечистая сила поселила в нем беса блудного! Но грубую животную похоть Гришка неизменно облакал в формы богоугодничества — этим он невольно закладывал первый камень в фундамент будущей «распутинщины».

* * *

Сибирь тогда кишмя кишела сектантами, и Распутин со своими наклонностями, конечно, не мог окунуться в холодный мистицизм официальной религии. Складку его натуры отвечали хлысты — с их буйными плясками, с их аморальным кодексом, где под глубоким покровом тайны творились самые мерзкие преступления противу нравственности. Теперь в избе Распутиных частенько останавливались какие-то странники в полумонашеском одеянии, приходили на закате солнца, а убирались с первой росой... Скоро села Покровского показалось Распутину мало — обесчестил и села окружные. Словно сатана какой, водил баб в лес тучами, там ставил кресты на елках, велел бабам молиться на него, а при этом плясал, дергаясь, обнимал всех и звал парней из соседней деревни — начинался свальный грех...

— Хлысты объявились, — заговорил народ, будто о чуме.

Распутин взял моду целоваться со всеми в уста.

— Греха в том нету, — говорил в оправдание. — Какой же грех, ежели все люди на земле родня друг другу? Коли я девку целую, так я закаляю ее противу беса... Спроси любую из них — противно ли ей это? Ежели противно, тады ладно, не буду!

Вокруг него скоро образовался кружок из людей темных и забитых. Сначала это были его дальние родственники с выселков, одичавшие в одиночестве, и две девки — Катька и Дунька Печеркины. Молельню

вырыл Распутин под избой — словно могилу, и проникнуть туда никто из посторонних не мог. Из бани Распутин сам уже не шел — глупые девки тащили его на себе. В этот период жизни Гришка много болтал о любви к богу, молол что-то о создании на земле «мужицкого царства», и нашлись дуры, поверившие в его святость. Из дальних деревень шли женщины, дабы покаяться в грехах не священнику в церкви, а новому апостолу... Распутин говорил дурам: «Перво-наперво, коли уж решила покаяться, ты меня не стыдись. — Но покаявшихся от себя уже не отпускал, внушая им: — Как мне поверить, что ты искрення? Вот коли в баньку со мною сходишь, ноги омоешь мне, яко спасителю, да водицы той испьешь толику, тады поверю: ты — во Христе!» Тунеядец, бежавший от труда, словно чёрт от ладана, Распутин нахально ощупывал котомки своих поклонниц и ничем не гнушался — ни соленым огурцом, ни куском ватрушки, ни луковицей. В этих обысках странниц активно участвовала и его жена Парашка (с того, кажется, и кормились)... Жидкие глаза Гришки, похожие на овсяный кисель, сочно и непотребно обласкивали деревенских молодых, которые отворачивались, закрывали лица рукавами, но тут же сами искали распутинских взглядов. Гришка давно уже приметил, что люди добрые взоров его не выдерживают...

...А в далеком Петербурге жаловалась мужу царица:

— Каждый день болит моя голова. Ежечасно расширено сердце. Я живу на каплях и валюсь в постель как мертвая. Меня гнетет ощущение предстоящей беды, и я не вижу никого, кто бы мог спасти меня! Жизнь очень трудно понять. Россия — унылая снежная равнина, а Петербург — столица подлецов и мерзавцев. Я знаю, что меня здесь не любят, но и мне тут никто не нравится!

Наглотавшись капель, она валилась на кушетку и курила крепкие папиросы, изнуряя себя самоанализом чувств, подозревая окружающих в том, что они решили испортить ей жизнь.

* * *

13. Бесстыжий апостол

Конокрады, они с коновалами всегда в дружбе. Им это надо — когда жеребца охолостить, когда кобылу доправить, чтобы в цене шла подороже. Гришка Распутин, пока с лошадиного воровства жил, немало повидал коновалов. От них и познал врачевальные тайны, что тянулись в XX век от ветхозаветной Руси, от народного разума, от знахарских

книг, писанных в лихие времена славянской вязью, закапанных воском древности...

Многое запомнил. Сберег. Пригодится!

Покровские мужики хотя и презирали Гришку, но иногда были вынуждены признать его превосходство над ними. Однажды мальчонку резанули косой по ноге, кровью исходил малый на сенокосе, а Гришка пошептал что-то, приложил травки — и кровь замерла... Чудеса творил Гришка и перед конскими ярмарками. В канун торжища приволок откуда-то полудохлую клячу, запер ее в амбаре. Неделю отпаивал ветхую кобылицу снятым молоком с отрубями. А когда наступала ночь, Гришка во мраке, тихо подкравшись, вдруг ожигал клячу кнутом, отчего она стала пугливой. Зубы у лошади давно стерлись, верхушки их стали плоскими (признак старости). Каленым железом Гришка по-цыгански выжег ей в зубах ямки, какие бывают только у молодых коней. Когда же повел клячу на ярмарку, все только ахали: выступал за ним резвый, подвижный коняга, дрожа гладкой шкурой, а по зубам дашь ему два года — не больше...

Покровский староста Белов рассуждал:

— Мазурик он! Может, исправнику нажалиться мне?

Дошло это до Гришки, и он Белову грубил бесстрашно:

— Ты, коли медаль нацепил на шею, так ко мне не совайся. Я человек божий и завсегда могу уйти в странники...

Гришка часто уходил из села, пропадая в долгих отлучках, а потом являлся, изможденный и мрачный, мутные глаза его скользко плавали в ободах синевы; был он тих после богомолий, посылал свою Парашку до лавки с запискою собственного сочинения: «Милостив Гасудар гаспатин Лавашник быть любезна Силетку мне по жирне и по толоче уважаючи тебе грегорий».

Покровский лавочник спрашивал Парашку:

— Тебе, Федоровна, какую — с икрой или с молоками?

Иногда же брал рубль, ставя его ребром на прилавке.

— Эво! — говорил, подмигивая. — Красная цена тебе... На сеновал-то придешь ли? Разведем мы икру с молоками.

— Да будет вам, — отвечала Парашка. — Я ему про селедку, а он мне про это самое. Эдак-то и до греха недалече. Заворачивай ту, которая с молокой... Когда на сеновал-то приходите мне?

Была она, под стать мужу, бабой скверной. Под самый XX век пошли у Распутиных дети — сын Митенька да две дщерицы, Варька с Матрешкой, — сопливые, нечесаные, зимой они по нужде босые по сугробам гоняли. «Распутинские, — говорили на селе, — живучие. Их и оглоблей не проймешь... Ишь, заливаются — голосистые!»

* * *

Без паспорта, без денег, даже без лаптей отваживался Гришка шляться далеко. Когда отмечались саровские торжества, он долго болтался в «нетях», вернулся и брякнул мужикам в разговоре:

— А я вот царицу повидал, нагишом... быдто Еву!

— Врешь ты все, — не верили ему.

Гришка рассказал, что в Сарове, когда императрица в пруду купалась, он в кустах с одной монашкой радел и все видел.

— Ну и кык она? — спрашивали. — Царицка-то у нас?

— Да в темноте они, бабы, все одинакие. Видел я тока, что больно мосласта, нежирная... Я бы и лучшее ее разглядел, да мне монашка моя мешала: «Радей дале, говорит, коли уж на меня взобрался, так на чужих баб не разевайся...»

Пока же он там болтался по разным святым местам, Парашка его вконец истрепалась. Путалась исключительно с «аристократами» — с писарями, сотскими, лавочниками. Когда Гришке указывали на nepотребство жены, он только отмахивался небрежно:

— Жалеть ли добра такого? От бабы не убудет... Это вы, дикари, закосматели тута, даже кофию ни разу не пробовали...

— А ты рази кофий пил?

— А как же! Я вот тока господского коньяка не пил. Но погоди, я и до энтого коньяка, даст бог, ишо доберусь...

Вскоре было примечено, что после долгих отлучек по богомольям у Гришки начинали денежки шевелиться. Он даже лошадь с шарабаном купил, стал носить высокий черный цилиндр, какие носили тогда провинциальные священники. «С чего бы такая роскошь?»

— Не убил ли кого? — толковали мужики. — С Гришки ведь всякое станется. А со странствий добра не спроворишь...

Вдруг прикатила в Покровское на тройке с бубенцами вдовая миллионерша Башмакова, надарила Парашке разных платьев, щедро оделила детвору Гришки гостинцами. Распутин выстроил на отшибе села новую баню с каменкой, водил туда миллионершу по вечерам, и там они знойно парились. «Греха не пужайся, — говорил Гришка богачихе. — Потому как всякий грех я на себя забираю, и пред богом тебе виноватой стоять не придется. С богом я и сам разберусь!..» Башмакова растрезвонила по свету, что вот, мол, апостол какой объявился — не только согрешит, но еще и от греха очистит. Понаехали из города и другие паскудницы — тоже усердно парились, а из бани Гришку, вымытого до изнеможения, вели под локотки — словно гуся

важного! «Осторожнее, старец: здесь крапива, — щебетали барыни. — Ах, устал наш старец...» (а старцу-то и сорока лет еще не исполнилось!). В голове Распутина, под буйными зарослями волос, вечно спутанных в жесткий колтун, была адская мешанина отбросов чужих мыслей. Все, что вынес он в юности из радикальной земской больницы, чего набрался в трактирах и конокрадских притонах, что впитал в себя на хлыстовских радениях, — все это, вместе взятое, образовало в башке его ужасный шурум-бурум... Одну лишь истину разумел он крепко и жадно:

— Чего это я стану ждать царствия небесного? На што мне облака да тучи? Я на земле желаю жить по-царски. Чтобы бабы плясали! Чтоб вино лилось! Чтобы самовары кипели! Чтобы сапоги у меня скрипели! Чтобы рубахи вышиты! Чтоб... всем вам треснуть!

Безжалостный к чужой жизни, харкая в самое святое людей, Распутин скоро совсем распоясался. Казалось, ему доставляло удовольствие надругаться над извечным целомудрием крестьянского мира, и напрасно бабы пытались увещевать его жену:

— Глаза-то твои бесстыжие видят ли, что деется? Ведь, чай, не чужая... жена ему! Нешто самой-то тебе не противно?

Парашку теперь было не узнать: развалив по подоконнику тяжелину грудей, барыней сидела в окошке избы, сама в шелку, ела пастилу голубую и розовую, в усладу себе щелкала орешками.

— А чо мне? — отвечала с игривостью. — Кажинный мужчиночка должен на хлеб супружнице заработать. А уж как сработал — меня не касаемо.

А вскоре прибыл новый священник — отец Николай Ильин, сосланный Синодом в Сибирь, ибо, будучи человеком честным, он активно выступал против попа Гапона и его влияния на рабочих. Искренно желая отвратить Гришку от разврата хлыстовского, Ильин стал по вечерам заманивать его к себе на чашку чая. Вел с Распутиным «душеспасительные» беседы, уговаривая вернуться на путь истины. Знакомство пошло Гришке на пользу — поднабрался от попа словечек церковных, ловко молол о мощах и разных чудесах. Ранее манкируя церковью, он вдруг сделался самым усердным прихожанином, подолгу — напоказ! — постился. Не вера, а страх двигал Распутина в официальные храмы: боялся он, как бы за хлыстовщину не упекли его в края, куда и ворон костей не заносит... Не ко времени опять нагрянула в Покровское на тройке миллионерша Башмакова (уже рехнувшаяся). Зонтиком переколотила все стекла в окошках избы Распутина, призывала истошно:

— Гришуня, не покинь! Выйди, голубочек ясный...

Распутин, зевая, вышел. Взял дуру старую за глотку, повалил на-земь. Прижал коленом, чтоб не больно-то рыпалась, долго и молча совал

кулаком в сдобную морду. Звеня бубенцами и рыдая, мадам Башмакова отъехала... Когда же мужики засомневались, можно ли эдаким манером обращаться с миллионершей, Гришка оправил за поясок выдернутую из порток рубаху и отвечал рассеянно:

— Кто? Она? Миллионщица? Так все едино — баба...

Истомленный развратом и церковными бдениями, он заметно похудел, синяки под глазами расширились. Случилось нечто странное: с лопатой ушел Распутин за околицу, выкопал на опушке леса глубокую яму, будто колодец, прыгнул на дно ямы и заявил оттуда:

— Бес меня вконец истомил... Сами видите — отселе и кроту не выбраться. Теперича здесь поститься стану. А вы мне за это билетку пожирней да потолсче кидайте.

Высидел он в яме несколько дней, заедая свое одиночество жирной и толстой селедкой (когда с икрой, а когда попадалась и с молокою). Но однажды пришли односельчане на опушку, дабы навестить своего «подвижника», а там, в этой яме, Гришка уже не один — рядом с ним сидят на дне и три городские дамочки.

— А греха не избежать, — провозгласил из ямы Распутин. — Почти уже спасся, да энти дуры скакнули сверху, быдто лягухи поганые. Всю святость, какая была, поломали, стервы. Вынимайте меня!

* * *

Не сразу до сибирской глухомани долетели отзвуки революции, а потом пошли разные кривотолки, будто скоро будет на Руси собрана народная Дума, чтобы думу о народе только и думать.

— Расплясались! — говорил Распутин. — А на кой хрен вся эта Дума нашему брату? Быдто в кошки-мышки с нами играют...

Ох, не спеши, Григорий Ефимович!

Именно предвыборная кампания по выдвижению «кандидатов из народа» и выпихнула Гришку на поверхность путаной русской жизни, хотя об этом казусе истории у нас мало кто знает.

